

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
М26

Иллюстрация на обложке *Ивана Хивренко*

**Маринина, Александра.**  
М26 Горький квест. Том 2 / Александра Маринина. — Москва : Эксмо, 2019. — 416 с. — (А. Маринина. Больше чем детектив).

ISBN 978-5-04-105428-1

Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые семидесятые: стабильность и покой, бесплатное образование, обед в столовой по рублю, мороженое по 19 копеек... Мечта?! Что ж, Квест покажет...

Организаторы отобрали несколько парней и девушек для участия в весьма необычном эксперименте — путешествии в 1970-е годы. В доме, где предстоит жить добровольцам, полностью воссоздан быт эпохи «развитого социализма». Они читают пьесы Максима Горького, едят советские продукты, носят советскую одежду и маются от скуки на «комсомольских собраниях», лишённые своих смартфонов и прочих гаджетов. С виду — просто забавное приключение. Вот только для чего все это придумано? И чем в итоге закончится для каждого из них?

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-105428-1

© Алексеева М.А., 2019  
© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2019

**ЗАПИСКИ  
МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ**

Меня спасли олимпиада и Алка. Нет, не та Олимпиада, которая демонстрирует достижения мирового спорта, а самая заурядная, городская, по иностранным языкам. Я не очень вдумывался, почему на эту олимпиаду послали именно меня: учился я хорошо, даже, можно сказать, очень хорошо, но в нашем классе были ученики и получше. Во всяком случае, человека три-четыре уж точно владели английским свободнее и вообще были умнее и способнее всех наших ребят. Но отправили меня. А я что? Сказали «поехать и защищать честь школы» — я и поехал. Тем более с утра, то есть вместо уроков, чем плохо? О подоплеке я тогда не задумывался. И только спустя много времени, когда случайно столкнулся с нашей англичанкой в книжном магазине на улице Горького, неподалеку от нашей бывшей школы, выяснилось, почему она рекомендовала меня для участия в той олимпиаде.

— Для мальчишка с таким мышлением, как у тебя, участие в городской олимпиаде было бы совсем не лишним для поступления в институт, — скупо улыбнувшись, объяснила учительница.

— А какое у меня мышление? — спросил я.

— Протестное.

Я учился в тот момент уже на четвертом курсе МГИМО и про свое протестное мышление все понимал, но мне стало интересно: неужели это было так заметно еще в десятом классе?

— Не знаю, как другим учителям, но мне было заметно. — Англичанка снова улыбнулась. — Я подумала, что упоминание в характеристике факта твоего участия в языковой олимпиаде тебе не повредит, особенно если ты позволишь себе некоторое отклонение от канонов при ответах на вступительных экзаменах.

«Некоторое отклонение от канонов!» Я восхитился изящным эвфемизмом и одновременно мысленно обругал себя за то, что в школьные годы считал эту учительницу злобной и вредной. Впрочем, так считали все десять человек в нашей группе, одной из трех, на которые разделили класс для изучения иностранного языка. А она, оказывается, вон какая...

Но в шестнадцать лет я ничего этого не понимал, вопросов не задавал и с тупой покорностью потащился с утра пораньше в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, где и проходила городская олимпиада школьников по иностранному языку. Выполнил письменный перевод, поговорил с членами комиссии на тему «Красная площадь — сердце нашей Родины» и отправился в гардероб за курткой.

— Отстрелялся? — спросила меня симпатичная полненькая девчонка, одновременно со мной натягивавшая красивый блестящий плащик.

— Угу, — кивнул я.

— Ты с какого потока? С немецкого? Я тебя в зале вроде не видела...

— С английского. А ты с немецкого?

— Ну да. Тебе какой устный вопрос достался?

— «Красная площадь», а тебе?

— Серьезно? — Девчонка расхохоталась. — И мне тоже! Надо же, какое совпадение!

Мне почему-то тоже стало очень весело. Мы вместе вышли на улицу, оживленно болтая, долго ждали автобус, потом решили идти до метро пешком, потом еще немного погулять, и еще немного, и еще... Девчонка по имени Алла училась в немецкой спецшколе, и мы с упоением делились впечатлениями и сравнивали, как и что нам преподавали на уроках соответственно английской и немецкой литературы, а также рассказывали друг другу одни и те же темы, открывая для себя удивительный (на тот момент с учетом нашего возраста и наивности) факт, что в обратном переводе на русский язык наши рассказы на английском и немецком звучали подозрительно одинаково. Рассказы эти, так называемые «топики», раздавались нам учителями, мы должны были вызубрить их наизусть, а впоследствии отгарабанить на выпускных экзаменах. Правда, были две темы, которые мы должны были написать самостоятельно: «Мой любимый писатель» и «Мой любимый художник». С писателями все было просто: пишешь первую фразу «Мой любимый писатель такой-то», потом открываешь учебник английской литературы, переписываешь своими словами биографию и характеристику

творчества и выучиваешь назубок. С художником оказалось чуть сложнее, нужно было переводить с русского, из статьи в энциклопедии, но тоже некритично. В итоге после четырехчасового шатания по улицам мы с Алкой пришли к выводу, что почти все тексты для устных ответов были написаны и разосланы для перевода на все языки, преподававшиеся в наших школах. И про сердце нашей Родины все школьники страны должны были рассказывать одинаково независимо от того, какой иностранный язык они изучали в школе.

Алка жила довольно далеко, в Бескудникове, но я все равно потащился провожать ее: очень уж жаль было расставаться с такой веселой и симпатичной девчонкой. День был холодным, дул пронизывающий ветер, в какой-то момент зарядил дождь, Алка накинула на голову капюшон, а у моей легкой курточки никакого капюшона не было, я шел с непокрытой головой, и вода затекала за ворот, но я ничего не замечал.

Заметить, однако, пришлось уже к вечеру. Разболелось горло, голос осип, начался озноб. Утром стало понятно, что болезнь разгулялась всерьез. Сестра ушла в школу, родители отбыли на работу, а я принялся старательно болеть и ждать участкового врача, которого вызвал по телефону.

А на уроках русской литературы моим одноклассникам как раз в это время «давали» Горького. Первые пару дней высокая температура заставляла меня почти все время спать, однако уже на третий день родители строго потребовали, чтобы я начал каждый день делать уроки, иначе сильно отста-

ну по программе, а в выпускном классе подобный риск непростителен. Плохая подготовка, провал на вступительных экзаменах в институт, армия... Далее следовал подробный перечень кошмаров, включая традиционное для нашей семьи обещание, что я буду «мести улицы», потому что за время армейской службы начисто забуду всю школьную программу, никуда не смогу поступить, останусь без образования и без «хорошей работы». Под хорошей работой у моих родителей подразумевалось то, что принято было считать престижным в их кругах — кругах партийных и советских работников. У меня насчет «хорошей работы» мнение было несколько иным уже тогда, но я молчал, не смея протестовать. Так что я честно звонил своему другу-однокласснику и спрашивал, что по какому предмету задано, читал, вникал, решал задачки, писал упражнения и конспекты. Когда Славка сказал, что по русской литературе начался Горький, я решил, что прочитать учебник успею потом, много времени на это не потребуется, а пока можно почитать произведения великого пролетарского писателя, потому что учебник — это, конечно, хорошо, но написать сочинение, не зная первоисточника, невозможно. Дома в книжном шкафу стояло собрание сочинений Горького. Я не стал морочиться с тем, чтобы выяснить, какие именно произведения мы будем проходить, и начал читать наугад. Доставал том и смотрел содержание: если там были статьи, дневники или письма — ставил снова на полку, если художественное — уносил к себе в комнату.

Первым произведением Горького, которое я прочел, был роман «Дело Артамоновых». В общем-то про Горького я слышал с самого рождения, и имя его обязательно упоминалось в связке со словами о революции и ведущей роли пролетариата, поэтому я был настроен на то, что прочитать мне предстоит нечто весьма пропагандистское, похожее на те статьи классиков марксизма-ленинизма, которые нас заставляли конспектировать на уроках истории и обществоведения, уже заранее внутренне морщился и кривился и утешал себя привычным и скучным словом «надо». Надо, иначе не сдашь ни выпускные экзамены, ни вступительные.

Когда я перевернул последнюю страницу, мне показалось, что меня обманули. Еще и еще раз перечитал последние слова, которыми заканчивается роман: «Не хочу. Прочь». Слова, произнесенные с лютой яростью. Как?! Это все?! Как будто я смотрел невероятно увлекательный фильм, и вдруг пленка оборвалась, и киномеханик сообщает, что «кина не будет». Растерянность от неожиданного окончания текста через несколько минут сменилась удивлением: мне было больно. Сейчас смешно об этом рассказывать, но тогда я буквально чуть не плакал. Мне было жалко Петра Артамонова, который всю жизнь страдал от того, что «не понимал» ни самого себя, ни окружающих его людей, ни жизни вообще. Тому, что в название книги выносятся либо тема, либо проблема, нас учили еще в девятом классе, и я призадумался: слова «Дело Артамоновых» обозначают проблему или тему? Если тему, то в сочинении придется писать

о том, что само по себе дело, то есть становление фабрики и ее развитие, является самостоятельным и даже главным героем романа и все вокруг этого. Если же это проблема, то придется рассказывать о том, как капиталистическое производство калечит души и сердца людей. Алгоритм «правильного чтения и правильного понимания» был вбит в нас намертво, и все эти нехитрые правила понимали даже троечники, а я был все-таки отличником, да и вообще мальчишкой неглупым. И давно уже научился подавлять в себе раздражение, вызываемое навязшими в зубах формулировками об обличении буржуазии, дворянства, мещанства, о гниющем капитализме и прочем.

Получалось, если судить по названию романа, Горький хотел написать книгу именно о «деле». Но во мне, шестнадцатилетнем, ослабленном высокой температурой, в тот момент выиграла сентиментальность: из головы моментально выветрились все упоминания (надо заметить, весьма немногочисленные) о рабочем движении и о деятельности полиции по выявлению и искоренению революционно настроенных активистов, зато с каждой минутой все ярче и ярче вставал перед глазами образ несчастного человека, доброго и хорошего от природы, но лишенного возможности любить и способности понимать. Он ведь готов был любить Наталью, свою жену, и то, что между ними какое-то время происходило, вело, казалось, к благополучному развитию: сидели они рядышком по вечерам в своей комнате, смотрели в окошко и рассказывали друг другу, как день прошел... Помнится, на



этом месте я так обрадовался! Очень мне хотелось, чтобы брак у Петра Артамонова оказался если не счастливым, то хотя бы просто удачным. Ан нет. Наталья мужа только терпела, а засматривалась на его двоюродного брата Алешу. Зато родной брат Петра, горбун Никита, любил Наталью именно такой любовью, о которой, наверное, мечтают все девчонки: восхищенной, нетребовательной, безоговорочной, преданной. В общем, бабский сироп. Когда я читал о том, что Никита пытался повеситься, поняв, что Наталья плохо к нему относится и считает неприятным, мне почему-то не было жалко горбуна. А вот Петра было жалко на протяжении всей книги. И особенно — в тот момент, когда он с отчаянием чувствовал, что не может найти правильных слов, чтобы объяснить сыну-подростку, отчего поступок мальчика дурен, и принимает решение: бить. «Он не находил, что и как надо сказать сыну, и ему решительно не хотелось бить Илью. Но надо же было сделать что-то, и он решил, что самое простое и понятное — бить». Это было в первый раз, когда Артамонов поднял руку на сына. А жену Наталью он поколачивал и до этого, затылком об стену бил. Но схватить за горло взрослую женщину в представлении Петра было не тем же самым, что оттаскать за вихры десятилетнего мальчика. И Петр искренне мучается, страдает, понимая, что убеждение словом лучше и правильнее, нежели рукоприкладство, и осознавая, что действовать словами у него не получается. И никак не может понять, почему же это не получается. Он не понимает смысла, не видит глубину,

не чувствует внутренних механизмов. И почему-то мне было до слез жалко этого Артамонова, всю жизнь несущего на себе непосильный для него груз ненужного и непонятного дела и непонятных ему самому чувств, которым он не может даже названия дать. Потолок его понимания — скука. Скуку он понимает, а чуть дальше — уже нет. Поэтому он не понимает одиночества. И не понимает любви.

Я решил дать роману отлежаться в моей воспаленной голове, не делать скоропалительных выводов и почитать еще что-нибудь. Взясся за «Фому Гордеева». Правда, Славик сказал, что русичка велела читать «Мать» и «На дне», но я уже понимал, что в школу меня выпишут не скоро, обычная, на первый взгляд, ангина протекала с осложнениями, участковому врачу не понравилось мое сердце, так что времени у меня впереди было достаточно, чтобы успеть прочесть не только то, что требуется по программе. Тем более если велено читать «Мать», то это уж наверняка про революцию. «Мать» подождет.

«Фому Гордеева» я прочитал за два дня и вынес твердое убеждение в том, что оба романа — об одном и том же: о том, что непонимание порождает стремление применить силу, ударить, разрушить, убить. Особенно меня поразила сцена на теплоходе, когда Гордеев начинает выкрикивать в лицо присутствующим обвинения в разных преступлениях, в том числе в мошенничестве, растрате, растлении малолетних и даже убийстве. Ведь по тексту было совершенно понятно, что все эти преступления не являются ни для кого тайной, все прекрасно

о них осведомлены, так что о публичном разоблачении речь не идет. Я читал сцену и недоумевал: зачем он это делает? В чем смысл говорить с пафосом о том, что и без того всем давно и без сомнений известно? И вдруг Горький сам объясняет: Гордеев хотел их унижить. «В нем, из глубины его души, росло какое-то большое, горькое чувство; он следил за его ростом и хотя еще не понимал его, но уже ощущал что-то тоскливое, что-то унижительное...» А перед этим, когда Фому схватили и оттащили, написано: «Теперь настала очередь издеваться над ним». Настала очередь. Значит, до этого издевался над присутствующими и унижал их сам Гордеев. Вот оно! Глухое тоскливое отчаяние непонимания доводит человека до желания унижить других. И что же потом? «Сам себе он казался теперь чужим и не понимающим того, что он сделал этим людям и зачем сделал». А ведь Фома с самого начала романа показан умным, хорошим, добрым... Книг вот только не читал, реальное училище окончил и на этом свое образование завершил. И вся книга описывает путь, по которому хороший изначально человек приходит к насилию «от бессилия» и отчаяния. Пусть это насилие не физическое, а словесное, сути это не меняет. Гордеев доходит до бессмысленной акции протеста, Петр Артамонов совершает убийство подростка, проявления разные, но корень у них один: вязкая душная тоска непонимания. Вот о чем эти романы, а вовсе не о революции и не о пролетариате!

Сейчас, когда мне двадцать три года, немного смешно вспоминать об этих моих восторгах пер-

вооткрывателя, таких детских и наивных. Теперь-то мне понятно, что именно непонимание и нежелание встраиваться в существующие правила игры были (и остаются) моим больным местом, но в десятом классе я еще не осознавал это так, как осознаю сегодня. В «Деле Артамоновых» я увидел в первую очередь то, что назревало и болело у меня внутри, и в «Фоме Гордееве» я, находясь под влиянием «Дела», тоже подсознательно выискивал и, разумеется, находил то, что откликалось в сознании. В этих романах, кроме непонимания, есть еще очень много другого, важного и интересного.

Потом я прочитал пьесы, оставив «На дне» и «Мать» на самый конец. Оба эти произведения были «по программе», и из-за этого я инстинктивно пытался оттянуть неизбежное «скучное». Покончив с крупными формами, взялся за остальное, которое тоже задавали: рассказы, сказки, «Песни». С этим я справился довольно быстро, после чего наконец соизволил открыть учебник.

Могу сказать правду: в тот момент я немного, тайком, гордился собой, будучи уверенным, что вот сейчас на страницах учебника, написанного умными и учеными людьми, я прочту то, до чего дошел сам, своим умом и без подсказок. Я предвкушал свой восторг и готовился к нему, как ко дню рождения. Каково же было мое разочарование, когда ничего этого я в учебнике не увидел... Все те же унылые слова про «обличение загнивающего» и «загнивание обличенного». Учебник гласил, что идея романа — идея исторической закономерности, необходимости и неизбежности пролетар-